

Иван Алексеевич Бунин

Сны Чанга

Бунин Иван Алексеевич
Сны Чанга

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах...

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница — он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проводах.

ках...

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет — много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают-живут «на берегу», как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнувшего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда, кроме того, сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать: вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу про-

давленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, где нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит, — на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, — неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящичками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспять, и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая — та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в

пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» Все же дни и ночи по-прежнему существуют, и вот опять была ночь, и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаз, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный...

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кислוגлазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок,

которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок, — рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, — строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

— Продай лучше собаку! — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и цокать: «Ve'y good dog, ve'y good!»[1] — И щенка купили, — всего за целковый, — назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо....

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в

устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане — и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мгlistым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в ряях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросы, в кованых сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол ко-

фейная чашка, забытая на столике лакеем... И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло сияющей лазури солнце, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. Вконец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборки, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым

стеклам мутными потоками. Слышал большой Чанг далекие командные крики, гремячие Свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая, — и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха...

Но тут сон Чанга обрывается.

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна с пушечным выстрелом ударила в корму—это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комодѣ стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для

Чанга. Чанг жадно начинает лакать. А капитан закуривает и снова ложится — ждать того часа, когда совсем обедняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно wpłyвает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: «Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда, после мучительного, беспокойного океана, вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море...

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И,

очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувшийся из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию там в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное — там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи... И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную, блестящую громаду пароходной трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеко-

лона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном; И, увидев всё это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым побережьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, — всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что, казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежее-

стью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана, — тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дую ему в нос, человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко... Потом капитан крикнул из рубки:

«Чанг! Кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сигнул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки вроде круглых стенных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела от-

ложным воротом просторная рубаша матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу.

— Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее, — ишь какое оно от островков и рифов пестрое, — надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоём существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов... Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе...

И, говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину.

— Лапы с карты прочь! — крикнул он на-

чальственно. — Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать — скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица-жена и, в-третьих, чудесная дочка, и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

— Все-таки, Чанг, счастливый! — сказал капитан, а потом добавил:

— Дочка эта самая, Чанг, девочка резвая,

любопытная, настойчивая, — плохо тебе будет временами, особенно твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней, — ну, скажем, почти в ней, — а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? — спросил он. — Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному — от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но, насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать — тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему! — Жутко жить на свете, Чанг, —

сказал капитан, очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще добавил:

— Главная шутка ведь в чем? Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь. И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилевшее, в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол — «нет, брат, жарко!» — сказал он, — но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на све-

те в этот радостный полдень. А потом...

Но тут опять прерывается сон Чанга.

— Чанг, идем! — говорит капитан, сбрасывая ноги скровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе? Красном море, а на чердаке в Одессе и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый, форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сторбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще не улегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки...

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимают Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног ка-

питана, на полу. А капитан сидит и Курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, перекочевать в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди краснолицых немцев, — людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с тою целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных, — потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но

очень тревожная, поглощена непрестанным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, — и просидят там До поздней ночи...

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, злая и низкая. «Ты посмотри кругом, — говорит он, — ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар-жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, — нет даже простой жалости. Жизнь — скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...»

И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается-

ся с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан: да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запеваает скрипка, за ней другая, третья... Они поют все страстней, все звончее — и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятого восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то — и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир — и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море...

— Да, так как это было? — не то снится, не то думается ему. — Да, помню: хорошо было жить. в жаркий полдень в Красном море! Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стоя-

ли на мостике... О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешанные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса, под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на винно-красное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило, — море точно втягивало его, — и все уменьшалось да уменьшалось,

стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали и сильней заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что все-таки он счастлив и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту — и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него.

Ночь же настала страшная и великолепная Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, — ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга див-

ным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта с сухим шорохом сыпались мириады бело-огненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и охлаждал густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую Бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и тяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана...

В эту ночь капитан привел Чанга в свою

каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли там, в тени и свете лампы, два фотографических портрета хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье, — стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царица И капитан сказал, раздеваясь под шум черных волн за открытым окном:

— Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят. Есть такие — и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксажура волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всяко-

му свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям самой Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцирных волнах?

— У-у! — сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака. — Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя, — в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?» Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, — только быстро взглянула на меня, и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: «Помоги мне расстегнуть сзади платье» — и я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки — и

как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услышал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом...

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, перевертываясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плосканицу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, — некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, — и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном...

Ночью капитан вдруг что то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавше-

го какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

— Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свињи — женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку — и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке И опять стало тихо — только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч...

Но тут внезапно оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

— Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свињи, вот кто твоя женщина! «Коврами я

убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдём, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома...» А-а, женщина! «Дом её ведёт к смерти и стези её — к мертвецам...» Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают, — идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день, — сон или действительность? — и опять в мире тьма, холод, утомление...

Так, однообразно, проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана — и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткры-

тыми и недвижимыми. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчавшийся по бульвару автомобиль...

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах, — Чанг как бы каменеет... О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем...» Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с по-

никшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается.

— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу, Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви

друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет — есть на земле еще какая-то, мне неизвестная, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями... Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудями жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан: в том незна-

чальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда, — третья, — а какая она — про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

Васильевское 1916

Примечания

1

Очень хорошая собака, очень хорошая! (искаженное англ.).

[^^^]